
Андрей Верещагин

Два рассказа

Аппроксимация

Говорила, что не боится, но черт ее знает, по покрасневшему от жары лицу не поймешь — лживый румянец в последние дни вообще никого не выдает. Взять того же деда из 301-й: раньше можно было сказать наверняка, выпил он угля или схаркнул под матрац, а сейчас сколько ни вглядывайся в этот влажный измятый крек — ничего не вскрыешь, никаких секретов. Они теперь все как налитые яблочки ходят, а кто не ходит, тот лежит в потном гало. И тоже красный. Валыч шутил, что так они будто святые с нимбами, потому что если никого во лжи не уличить, значит, все говорят правду, а святые как раз не врут.

С этой у Валыча сложилось по-особенному. Тимохина въехала в понедельник, высоко вскидывая колени, поднялась на второй этаж и смиренно выслушала указания дежурной сестры: о питании, об отбое, о том, что делать в случае острых болей. Та потом расписывала главврачу Жургину, какая «поциенточка-красоточка», да как с ней легко и приятно будет работать, да как она не скандалила и не хамила, да как даже Фурцева, к которой подселили новенькую, встречала шаберку не матом и проклятиями по обыкновению, а тихим «здрасьте-здрасьте» и скорбным собачьим взглядом. Жургин почесался, но все-таки отложил знакомство до вечернего обхода, а вот Валыча заинтриговало, поэтому он, приклеив взмокшие волосы к макушке, отправился к Тимохиной.

Появился на пороге важно, в белом венчике дверного короба поклонился Фурцевой (та хрюкнула и отвернулась к стене), представился, однако ответа не получил. Новенькая будто и не слышала, занятая перемещением тряпья из рюкзака на постель: стопка полотенец, штанов и футболок ханойской башней росла перед ней, чтобы завершиться шуршащим пакетом с банными принадлежностями. Все это можно снести в кладовую ниже по коридору, прокряхтел Валыч, когда Тимохина выпрямилась; спасибо большое, ответила она. Валыч предложил показать ей ее место, а она этак подняла брови, что он осекся и перефразировал: сказал, что имел в виду ящик, а не иерархию. Он прикрылся неловкими хиханьками, но хаханьки отзывом не последовали — только строгий кивок в сторону открытой двери. По пути Валыч

Андрей Верещагин — журналист. Родился в Санкт-Петербурге в 1992 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры (2009). Живет в Санкт-Петербурге. Это первая публикация автора.

осведомился у Тимохиной, с чем пожаловала, а она пожаловалась на рези в нижней части живота, картинно приложив руку к оголенному пупу. А, аппендицит, понимающе протянул Валыч и заверил пациентку, что бояться нечего. Та дернула плечами, ответила «наверное» и дальше — лишь бормотала под нос и сухо благодарила за предоставленный ящик для скарба. Может, распереживалась.

Жургин вечером накатил и по традиции делился в ординаторской впечатлениями от обхода. Когда в повествовании он добрался до Тимохиной, то воззрился на дежурную медсестру и сказал, что не понял ее восторгов. Она нелюдимая какая-то, поддержала главврача повариха и поведала, как новая пациентка отказалась от вкуснейшей сайры с вареными кабачками на ужин даже не словом, а одним брезгливым жестом. Другие доктора, которым довелось столкнуться с Тимохиной, тоже отметили непрерывное шевеление губ и безучастность взгляда. Валыч от суждений воздержался, заслонившись угодливыми хиханьками — в этот раз сработало. На каждое замечание в ее адрес он пытался придумать оправдание, пока, наконец, не поймал себя на этом занятии; оно вдруг сделалось до того нелепым и постыдным, что, сославшись на усталость, он отправился домой раньше, чем Жургин в своем рассказе вошел в 301-ю.

Утром, дождавшись подъема, Валыч завалился в палату к Тимохиной, чтобы разрешить собственные противоречия относительно нее. За ночь они успели настояться и забродить, собраться в отеках под глазами, которые было видно и на раскаленном лице. Фурцева храпела, морща лоб под тавром солнечного луча, а новенькая, укрыв ноги махровым одеялом, писала в блокнот. Валыч присел на край кровати и принялся подбирать зачин для беседы, но Тимохина сынициативничала, полюбопытствовав, не с обходом ли пришел. Нет, этим Сергей Викторович занимается, проговорил он и поспешил удержать внимание вопросом о самочувствии. Все хорошо, сказала Тимохина, а вы как? Валыч на автомате размашисто пошутил про косяк, споро извинился и спросил, что она пишет. Фантастику, сказала и резко дополнила: вы смерти не боитесь? Да нет, промычал Валыч в резонанс с всхлипнувшими пружинами койки. Тимохина продолжила допытываться: как вы со страхом справляетесь? Ну, я вроде врач, мне положено. Врачи же остро приближение смерти чувствуют. С чего вы взяли? Операции боитесь? Когда она? Четырнадцатого, завтра то есть. Ничего страшного не будет, уверяю.

В течение дня, когда Валычу случалось пересекаться с Тимохиной в коридоре, она с подозрением смотрела на него; тот глаз не отводил, но и не спешил вступать в разговоры — больно не хотелось успокаивать пациентку. В конце концов, Тимохина, которая валандалась у двери палаты, обратилась с вопросом о вере в бога. Не положено, отшутился Валыч, но встречного не задал. Тогда Тимохина пустилась в объяснения, якобы религия и искусство — это способ справиться со страхом смерти, убедить себя в том, что после что-то да останется. Вам бы духовника позвать, батюшки сюда ходят, освящают по нужде, наставлял Валыч, а она продолжала: я вас как врача, который на границе посмертия существует, спрашиваю, что дальше? Да ничего: холод морозильника, а после жар печи, если родственники попросят. Тимохина, небрежно выбрасывая подбородок в сторону окна, вопрошала, за что там люди воюют, и себе же отвечала: за бессмертие. Валыч хотел возразить, мол, в бою-то погибают, но смекнул, что речь не о личном, а народном; мысль эта показалась ему занятой, и он справился, сама ли Тимохина до нее дошла. Нет, вычитала, но самостоятельно, что в контексте крайне важно. Дальше она тараторила с фанатичной быстротой, спотыкаясь и путая ударения; Валыч терялся в смычке клубов: было про бога и долг, необходимость поддерживать безупречность концепции и чистоту поступков. Жизнь по понятиям,

собирался шутить он, но вместо этого тупо спрашивал, не боится ли она умереть. Говорила, что не боится, но черт ее знает, по покрасневшему от жары лицу не поймешь. Страх, говорила, притупляется верой, но не конвенциональной, а собственной — там истории интереснее и ярмо не столь тяжелое. Попробуйте, в итоге предложила Тимохина, придумайте пантеон.

На ежевечернем выступлении Жургина ее снова костерили — не один Валыч был целью для расспросов, но он один, похоже, не стал их избегать. Гулкая речь главврача, отороченная междометиями, растянулась по комнате; смешки и наблюдения коллег иголками вонзались в ее полотно, но проходили навывлет. Жургин был слишком увлечен рассказом и очарован своим голосом, чтобы заметить, как вянет интерес слушателей; Валыч же, поглощенный собственной космогонией, пропустил и искусное интонирование под уличный гомон, и остроты. В голове вертелись (в порядке возникновения): изрытые глазами, как оспинами, колеса; косматые существа из металла, обтянутые кожей, с сосками, в ареолах которых башенными кранами вставали кривые ветки; скользкие облака с трясущимися, но цепкими шупальцами; громогласный и безгубый рот; проливные перья; секущиеся разломы; маслянистые капли и иступленный набат надо всем. Он говорил о том, что Валыч поступает правильно; истеричное в подаче послание было трепетным и нежным, успокаивающим и обнадеживающим; он не запрещал ругаться, пить, лениться, завидовать и врать, а оскорбления в свой адрес воспринимал снисходительно и с юмором. Валыч пока основательно не верил ни в него, ни ему, но это всего-навсего вопрос проработки, которой было решено посвятить часы грядущего ночного дежурства. Жертвуй и без того непродолжительным сном, Валыч старательно вытаскивал мифы; кое-что стыдливо зарисовывал, но до написания псалмов не дошло. К рассвету у него были опухшие веки, уставшая от зева челюсть и общие представления об устройстве вселенной — ими-то Валыч и хотел побыстрее поделиться с Тимохиной.

Потом с улицы загрохотало; Валыч подходил к окну, высовывался, насколько позволяло затекшее тело, и тщечно высматривал источник звука. На сумбурном утреннем совещании, куда многие почему-то не явились, попросился ассистировать в операционной, а Жургин, раздраженный хлопками и стрекотом, ломаться не стал: шум снаружи сводил его с ума и сделал уступчивым. Время до подъема Валыч коротал за дремотной полировкой мифа; далекий грохот мешал сосредоточиться, и часам к девяти уже окончательно доконал, поэтому к Тимохиной он пришел только потому, что так решил раньше — менять планы сил уже не было, равно как и рассказывать о своих выдумках. Зато он мог послушать ее фантазии: о разумных океанах; кремниевых червях-термофагах; лоснящихся гигантах и холодном лимфобульоне, которым они наполняют безжизненные оболочки. Это, конечно, было очень увлекательно, но Валыча еще на середине начало вырубать; дождавшись окончания, он поблагодарил Тимохину за откровение, деланно восхитился ее фантазией и отправился просить у Жургина разрешения прикорнуть перед операцией. Главврач не отказал, и изнуряющий слух шум превратился в сломанный убаюкивающий гул, стоило растянуться на диване в ординаторской, где Валыч вскорости забылся.

Проснулся сырой и шальный, отодрал прилипшую к обивке рубашку, посмотрел на часы, которые показывали почти четыре дня, и рванул на третий этаж в операционную. С улицы по-прежнему бахало и даже громче, чем раньше; Валыч на ходу кинул взгляд в окно, но ничего не увидел. Запыхавшийся, он ворвался в помещение и рвано извинился, на что Жургин отозвался неодобрительным бурчанием в маску. Тимохина уже лежала на столе под любопытно склонившейся, но пока еще слепой лампой; вы

теперь моя сеньорита Кора, прошептала Тимохина; Валыч шутки не понял, но на всякий случай улыбнулся и расхристался, а затем направился к окну, чтобы закрыть шторы. Внизу тянулась улица, сухая и пожелтевшая от жары, с яркими пятнами листвы и блеклыми автомобилями по обочинам; она казалась впусую потраченной, странно не занятой движениями, но вдалеке Валыч разглядел шевеление. Сперва неясное, оно обретало форму людской колонны, будто бы шествия, в котором и дети, и старики, и милиция, и солдаты; у них не было транспарантов и лозунгов, марш преимущественно молчал, а если кому и случалось вскрикнуть, тот тут же обрывал сам себя глухим раскатистым тарахтением. Ласкаемый тенями крон, смазанный маревом и ритмично дрожащий, этот поток тянулся от самой площади, становился четче; сотни и сотни сливались в единое пестрое, но отсюда уже обведенное рядами автоматчиков, как замысловатым пунктиром. Строй был неровный и какой-то дерганый, сжимался и извивался, но все равно строго направлял людей к дверям больницы, с первого этажа которой доносился тревожный шум. Ваш бог молитвы слушает? — сбивчиво спросил Валыч, повернувшись к Тимохиной, и, не дождавшись ответа, посоветовал молиться.

Стеклопакет

За ночь бурое пятно на потолке подросло, оформилось в растянутую в улыбке пасть, по краям которой кусками обветренных губ свисали шматы краски. Пятно приветствовало и желало доброго утра, а Вершинин благодарно кивал ему, отрывая голову от влажной подушки. Жар не отступал уже больше недели — обычно ютился между висками и под затылком; порой стекал вниз и плавил легкие, но никогда не добирался до кистей и стоп. Мира говорила, что они холодные, как у покойника. Несколько раз Вершинин звонил в больницу, жаловался на температуру под сорок. Дежурная на том конце хрипло объясняла, что свободных машин нет, рекомендовала парацетамол. Однажды, когда «скорая» остановилась у его окон, Вершинин вышел на лестницу, чтобы максимально жалостливо попросить помощи, увидел, как врачи ташат носилки, застеленные белой простыней, и скрылся за своей дверью.

В квартире было душно, пахло дымом, болезнью. Проветривать Вершинин боялся и держал окна закрытыми, хотя задним умом понимал, что ничего страшного уже не случится. В нем тлел страх усугубить недомогание, будто холодный воздух с улицы может разогнать жар по телу — снести барьеры, которые мешали ему добраться до пальцев, и тогда-то точно наступит конец. Умирать Вершинину не хотелось — хотелось курить. По стенке он прошел на кухню, нащупал пачку «Данхилла» дрожащей рукой, через желтоватую поволоку в глазах достал последнюю сигарету, зажег и затянулся. После короткого приступа кашля стало легче: зрение прояснилось, а в конечностях появилась твердость. Вообще-то он курил «Кэмел», но в последний раз синего в магазине не оказалось, так что Мира принесла «Данхилл». На кашель в кухню вошел черный кот, с прищуром поглядел на Вершинина и принялся тереться о его ноги, подергивая хвостом. Шерсть на хвосте секлась, поблескивала серебристой пылью. Вершинин взял из холодильника пачку корма и высыпал остатки в миску.

— Прости, Виталька, больше нет, — виновато проговорил он, глядя как кот тычется носом в фигурные сухари. Потом кот повернул острую морду набок и оглушительно захрустел. Вершинин потрепал его по холке и вернулся к сигарете.

Четыре года назад, когда Мира принесла кота в квартиру, Вершинин протестовал.

Его напрягло не само наличие животного и связанные с этим трудности, а сумма, которую за него выложили. «Почему бы дворового не взять или там, не знаю, из приюта, в конце концов», — недоумевал Вершинин. Мира отвечала, мол, тридцать тысяч за котенка ориентала с безупречной родословной это очень дешево. В документах значилось, что кота зовут Виталион, но Вершинину было даже стыдно произносить такое вслух, поэтому он, сперва пренебрежительно, а затем с симпатией, стал звать его Виталиком. Кот оказался не таким уж плохим приобретением, однако сама Мира охладела к нему, когда выяснилось, что Виталик бесплоден и заработать на вязке не выйдет.

Вершинин докурил и набрал Миру. Она долго не отвечала, так что он сбросил, следом отправив сообщение с просьбой перезвонить. Было тихо, кот закончил есть и удалился в коридор. За окном кто-то протопал по снегу, запищали кнопки домофона, затем — трель звонка, невнятное бормотание, и подъездная дверь, завопив сигнализацией, открылась. «Интересно, — подумалось Вершинину. — Если бы я поставил стеклопакеты, все равно бы это слышал?» Шум снаружи его никогда не смущал и, более того, временами успокаивал. Старые деревянные окна с облупившейся краской, распухшие и покосившиеся настолько, что приходилось приподнимать створки, чтобы их захлопнуть, тоже не смущали. Ему нравилось заклеивать их на зиму смоченными в мыльной воде тряпками, в этом процессе виделось что-то ритуальное и успокаивающее. И все же, проходя мимо дома, Вершинин стыдливо отводил глаза от своих понурых окон, матовым блеском и неровностью рам выделяющихся среди стеклопакетов, накопить на которые так и не удалось.

Деньги тратились то на одно, то на другое, все непреложное и в первую очередь необходимое. После того, как Женька уехала в Казань учиться, стало чуть легче, у Вершинина с Мирой завелись свободные средства. Их спускали на развлечения. Съездили в Петербург, в Москву, в Крым. Купили новый телевизор и диван-кровать. До ремонта дело не дошло — осенью позапрошлого года руководство завода сократило рабочие недели, Вершинин потерял в зарплате, а Мире пришлось взять частные занятия в дополнение к урокам в школе. Но денег все равно не хватало. «Ничего, сначала Женьку кормили, а теперь и унитаз покормим», — отшучивался Вершинин, случись Мире запричитать.

Он снова позвонил Мире, но она сбросила вызов. Вершинин заглянул в холодильник, где, разойдясь по разным концам ящика, лежали два банана. На дверной полке топорщила стеклянное брюхо банка майонеза. В морозилке оказались пельмени, но заниматься варкой не было сил, поэтому Вершинин щелкнул по кнопке чайника, вернулся в постель и включил телевизор. Показывали, как во Владивостоке на льду рисуют огромную рыбу. Художники в пестрых комбинезонах размахивали красными от марганцовки вениками. Они выглядели смешно и слегка жутко, словно клоуны, подчищающие место убийства. Потом длиннолицый ведущий гнусаво рассказал об очередной победе команды «КАМАЗ-мастер» в ралли «Дакар-2010». «Вот же ж, простых работяг на мороз гонят, а гонщиков этих разве что платиной не обливают», — подумал Вершинин и отвернулся от экрана. Пятно на потолке как будто стало больше. В шелушащемся подтеке теперь виделась насмешка, тем более обидная, что постоянно висела над кроватью, на которой Вершинин страдал. Мысль эта была унижительной и жаркой, Вершинин почувствовал, как поднимается температура, закрыл глаза и уснул под бубнеж из телевизора.

Проснулся от звонка мобильного, не глядя ответил и услышал голос Миры, смешанный с глухим гомоном дороги и музыкой.

- Чего звонил? — спросила Мира.
- Ты сегодня не заедешь?
- Могу заехать, да, мы с Русланом как раз закончили. Тебе нужно что-то?
- Да, захвати сигарет, пожалуйста. И Виталику корм.
- Ладно. Через полчаса приеду.

Вершинин не знал, что еще сказать, поэтому просто молчал, стараясь разобрать слова песни, играющей на фоне.

- Как себя чувствуешь? — спросила Мира, выдохнув.
- Вроде бы получше, — соврал Вершинин.
- Хорошо. Я скоро.

По экрану телевизора носилась белка на водных лыжах, которые были пристегнуты к игрушечному катеру, нарезавшему круги в надувном бассейне. Диктор сказал, что грызун любит экстремальный спорт и выступает за здоровый образ жизни. Вершинину захотелось водки, но звонить Мира он не стал, а отправился в ванную, чтобы привести себя в порядок к ее приезду.

Из зеркала над пожелтевшей раковиной на него глядел нездоровый человек. Ввалившиеся щеки заросли щетиной, глаза слезились, губы, влажные и опухшие, тянулись вниз под собственным весом. Волосы на голове сваялись, над ушами торчали жесткие белые нити. Кажется, за время простуды их стало больше. Седеть Вершинин начал еще на третьем десятке. Тогда он просил Миру выдергивать редкие бесцветные волоски и был твердо уверен, что в будущем будет закрашивать их. В последние годы седина стала распространяться особенно быстро, почти полностью захватила виски, защелкнулась на затылке. О выдергивании уже не могло быть и речи, а на покраску Вершинин все не решался — говорил, что она будет символизировать его проигрыш в битве со старостью. Мира в ответ закатывала глаза и махала рукой. Умывшись, Вершинин пригладил ломкие волосы, старательно почистил зубы и уселся на кухне.

Чайник давно остыл, так что его пришлось включить снова. Виталик прибежал на шум кипящей воды, встал перед пустой миской и коротко всхлипнул.

- погоди, браток, — развел руками Вершинин. — Скоро Мира придет.

Она пришла чуть позже, чем обещала. Открыла дверь своим ключом, пока Вершинин пил чай, не разуваясь прошла на кухню, поставила на стол пакет.

- Ну и воняет тут у тебя, — сказала Мира. — Ты что, вообще не проветриваешь?
- Так болею же, — с деланным равнодушием ответил Вершинин.

— Ничего с тобой не станется. Температуру мерил? — она коснулась тыльной стороной ладони его лба. — Я же тебе парацетамол приносила, не забывай пить.

Вершинин кивнул. Мира положила перед ним пачку «Данхилла», упаковку сосисок и кошачий корм. Услышав знакомое шуршание, Виталик залез на стол.

- Ну-ка, брысь, — скомандовала Мира. — Что у тебя там с пятном?

— Растет чутка, — Вершинин открыл сигареты и закурил, голову приятно повело после двух долгих затяжек.

— Я к соседу твоему сверху зашла, у которого имя еще интересное такое: то ли Лазарь, то ли Лазер, — заговорила Мира; она пахла морозом и автомобильным освежителем воздуха. — Он мне все показал, никто тебя не заливает. Видимо, грибок какой-то, надо средство купить.

Вершинин не ответил, а Мира не продолжила диалог. Прикончив сигарету, он сказал:

- Лоза.

- Что?
- Сосед. Его Лоза зовут.
- Нет, точно не лоза.
- Да нет, Лоза, ударение на «о».
- А, возможно. Странное имя, короче.

Помолчали еще. Вершинин предложил Мире чаю. Она отказалась, сославшись, что ее ждут во дворе.

— Как вообще жизнь? — спросил он.

— Да как, нормально, — Мира пожала плечами. — Дом все строим, ездили выбирать отделочные всякие. Замерщик сегодня приходил еще, окна вымерял.

— Стеклопакеты ставить будете?

— Разумеется. Мы такие широкие присмотрели, знаешь, в цвет дуба.

Потом прощались. Вершинин хотел было обнять Миру, но она строго протянула ему ладонь прежде, чем он раскрыл объятия. Ограничились рукопожатием, после которого Мира зябко поежилась и сказала:

— Руки у тебя холодные, как у мертвеца. Ладно, звони, если чего нужно будет. Выздоровливай.

Немного помедлив у дверей, Вершинин вернулся в комнату и встал у окна. Он хотел посмотреть, как Мира шагает через заснеженный двор к ожидавшему ее возле детской площадки джипу. Она ступала осторожно, обходила серые лужи, затянутые ненадежной коркой, сугробы с грязевыми шапками. Джип приветственно мигнул ей фарами, Мира подняла руку, помахала. Вершинин вдруг осознал, что все это время тербил задубевшую ткань, которой заклеил окно. Ее край отошел, а через щель пробивался острый сквозняк и шекотал живот. Он потянул еще. Ткань отрывалась от рамы с кусками краски и гулким треском. Сквозь отверстия в квартиру, завывая, проникал ветер. Он гудел все громче, как будто пытаюсь перекрыть скрежет намыленной ленты, и затих лишь тогда, когда вся она была оторвана.

В комнату вошел Виталик и прыгнул на кровать; за окном Мира забиралась в машину. Вершинин попробовал разглядеть лицо водителя, но увидел лишь свое отражение — нечеткое, полупрозрачное, искривленное неровной поверхностью стекла, — над которым тучей висело бесформенное и такое же призрачное пятно. Джип уже сдавал назад, слепя фарами. Вершинин тщетно попытался еще раз сфокусироваться на водителе, а потом дернул потертую задвижку рамы, схватился за ручку и с силой рванул окно на себя.